

ЮРИЙ ПАВЛОВ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ, “ПОТАЁННЫЙ” И ЯВЛЕННЫЙ

23 февраля 1990 года Виктор Астафьев информирует главного редактора “Нашего современника” Станислава Куняева: “... Я перехожу в журнал, более соответствующий моему возрасту, и к редактору, с которым меня связывает давняя взаимная симпатия, то есть в “Новый мир” [1. С. 550].

Данное решение несправедливо объяснять только расчётом: осенней встречей в Риме с писателями-эмигрантами (о ней в феврале Астафьев ещё не знал), желанием получить Нобелевскую премию и тому подобным. Переход в “Новый мир”, – прежде всего, результат почти окончательной победы тёмных начал в личности писателя. О разных уровнях проявления этих начал, определявших главную линию судьбы “позднего” Астафьева, и пойдёт речь.

Солидарность Виктора Петровича с “Письмом 42-х”, пропитанным кровью жертв ельцинского режима, говорит сама за себя. И не подпись Астафьева под позорным документом имеется в виду. Тем защитникам прозаика, кто утверждает, что он письмо не подписывал, и тем, кто в его фамилии, находящейся в конце письма, видит указание на “долгие переговоры и согласования” (“Культура”, 2019, № 16. С. 4), поясним. 14 января 1994 года Астафьев сообщает: подпись под “Письмом 42-х” “присобачили” без его ведома. Однако далее уточняется: “Подпись моя, стоящая среди достойных людей нашего времени, уместна, и я поставил её, считайте, задним числом” [1. С. 657]. Такое высказывание, озвученное через три месяца и десять дней после трагедии, воспринимается как признание нераскаявшегося человека, уверенного в своей правоте.

Ещё одно из важных проявлений сущности “позднего” Астафьева – его отношение к ельцинскому режиму. В 1990-е годы Астафьев многократно, последовательно, постыдно выступает в защиту президента. Всю ответственность за катастрофические события этого десятилетия писатель, как правило, возлагает на коммунистов и русский народ. В многочисленных интервью, письмах, отдельных “Затесях” Астафьев говорит, по сути, одно и то же. Вот как, например, во время предвыборной кампании в 1995 года характеризуются писателем Ельцин и народ: “Все дружно ругают президента, а виноват он лишь

ПАВЛОВ Юрий родился в 1957 году в городе Кроткине Краснодарского края. Доктор филологических наук, профессор факультета журналистики Кубанского государственного университета. Член СП России. Критик. Лауреат литературных премий. Автор многих публикаций в журнале “Наш современник”, газетах “День литературы”, “Литературная Россия” и др. Живёт в Краснодаре. Главный редактор журнала “Родная Кубань”.

в том, что впрягся в эту огромную телегу, не сознавая, видимо, что гора выскока и колдобины на российском пути глубокие, что никуда, ничего и никого не вывезти. Уже в 90-м году было ясно, что народ наш не готов к крупным переменам, к решению колоссальных задач, к крутым, грандиозным переменам” [1. С. 712].

Любимая идейка о неполноценном народе западников-русофобов разных эпох наполняется Астафьевым таким же по происхождению содержанием. Приведём заключительную часть высказывания, составленного из расхожих клише: “Работали плохо, получали мало, жили одним днём <...>, при всеобщем образовании, в том числе и высшем, остались полуграмотной страной. Зато много спали, пили беспробудно, воровали безоглядно. И этому, в полусне пребывающему, ко всему, кроме выпивки, безразличному народу предложили строить демократическое государство, обрекая его думать и жить самостоятельно.

А зачем ему это? Нужно ли? – опять позабыли спросить!

Вот в 90-м или во время путча 91-го года и надо было давать отбой – не можем! Не созрели” [1. С. 713].

Если у русского народа такие “защитники”, как Виктор Петрович Астафьев, зачем ему враги?

Видимо, закономерно и то, что страшилки о русском фашизме и восхваление Ельцина часто сопровождаются сверхнегативными выпадами против ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в “Старой записи”, одной из последних “Затесей”, Астафьев приписывает президенту мифические заслуги и не хочет понять фронтовиков, недовольных политикой руководителей страны. С удивлением читаем: “Но за чуткость эту и многое другое отблагодарили вояки Ельцина чисто по-русски: стали материть его на всех перекрёстках и площадях, трясли красными знаменами да славил отца и учителя, который послал их на смерть, а после победы, взбодрившись, выбросил на помойку, позагонял в леса, рудники, шахты искупать его вину <...>”. И заканчивается этот пассаж весьма своеобразно, в астафьевском духе: “Ума нет – беда недалеко”, – говорят на Урале” (“Новый мир”, 1999, № 8. С. 21).

В данном случае речь должна идти не об отсутствии ума у фронтовиков, а о неадекватности самого автора. Во-первых, ветераны войны разных национальностей относились к Ельцину резко отрицательно, поэтому нет никаких оснований говорить о “чисто русской” благодарности. Во-вторых, мысль о Сталине, посылавшем на смерть фронтовиков, недовольных в 90-е годы Ельциным, уязвима хотя бы потому, что фронтовики эти живы. В-третьих, страшилка – довольно старая и не собственно астафьевская – о победителях, выброшенных на помойку, загнанных в леса и т. д., рассыпается, если посмотреть на вполне благополучные судьбы С. Орлова, Ю. Бондарева, Г. Бакланова, Ф. Абрамова, Б. Слуцкого, В. Бушина, Б. Окуджавы, М. Лобанова, Д. Самойлова, Е. Носова и многих-многих других участников войны.

* * *

В последние тридцать лет большая часть СМИ, многие критики, литературоведы, деятели культуры, преподаватели вузов, учителя последовательно утверждают: публицистические высказывания и художественные произведения о Великой Отечественной войне “позднего” Астафьева – ранее не ведомая солдатская правда о главном событии XX века.

На самом деле своеобразное видение войны сформировалось у Астафьева уже в 1960–1970-е годы. Поэтому есть смысл сказать отдельно об этом периоде в становлении взглядов писателя на войну и на то, как эти взгляды проросли в личности и “позднем” творчестве.

Именно в эти годы Астафьев проводит нравственную ревизию традиционного видения войны. Этапным на этом ревизионистском пути являются рассуждения писателя 1974 года: “Что стоила нам победа? Что сделала она с людьми <...> И самое главное, что такое хороший и плохой человек? Немец, убивающий русского, – плохой; русский, убивающий немца, – хороший. Это <...> приучало к упрощённому восприятию действительности, создавало удобную схему, по которой надо и можно любить себя <...>” [1, с. 235]; “Хорошие – плохие” люди в военной форме уже своё отжили. Они

существуют только благодаря законсервированности и косности человеческой мысли” [1, с. 236].

Как видим, вопросы и ответы формулируются так, чтобы поставить под сомнение традиционное христианское представление о войне, разрушить национальную систему ценностей.

Астафьевская атака на эти ценности и такое восприятие войны была продолжена в письме к Валентину Распутину от 20 декабря 1974 года. Высоко оценив повесть “Живи и помни”, Виктор Петрович направляет младшего “брата” (так он долгое время называл Распутина) на принципиально иное, “правильное” понимание происходящего. Глаза на войну, по мысли Астафьева, должны открыть Распутину слова, сказанные на фронте якобы “умным человеком”: “Молокососы! <...> что вы тут хлещетесь, под пулями работаете, надеясь, что потом вас на руках носить будут, помогут вам в жизни (такие прагматично-западнические мысли в головах подавляющего большинства защитников Родины в принципе даже возникнуть не могли. — Ю. П.). Ни хрена! Как всегда, победу отнимут у народа те (отнять победу у народа невозможно; её можно отнять только у больных наполеонизмом людей, к народу отношения не имеющих. — Ю. П.), кто за вашими спинами скрывался, <...> сделают безликой массой, принизят ваше значение, оплюют ваш тяжкий труд на войне и в тылу...” [1, с. 243].

Валентин Распутин совету старшего друга не внял: такое видение войны и послевоенной действительности было для него абсолютно неприемлемо и в 1970-е годы, и позже. Закономерно, что в эссе Распутина “Повесть пронзительная и печальная”, написанном незадолго до смерти, Астафьев-прозаик присутствует в тексте и подтексте как антипод Евгению Носову.

В “поздних” рассказах Носова отмечается “какая-то особая чуткость и мягкость слов, которые только он умел расположить даже в самом суровом и драматическом тексте так, что они давали утешение и просветление” [2, с. 8]. Не иссякающий до самой смерти талант Носова Распутин объясняет качествами его писательской личности.

Размышляя об одном из лучших рассказчиков второй половины XX столетия, Валентин Григорьевич невольно определяет важнейшую мировоззренческую и творческую особенность русских писателей XX–XXI веков, продолжающих традицию христианского гуманизма: “Такое впечатление, что его творческий запас и не мог убыть, его духовная и нравственная чуткость, его мудрость и добродушие и не могли иссушиться, потому что личное, индивидуальное находилось в нём в непрекращающейся связи со всем лучшим, что сохранилось в нашем народе. Невольно любишь: сколько добрых, светящихся, ласкательных слов находит он для самой суровой военной поры — и когда находит? — почти в подобное же лихолетье (речь идёт о любимых Виктором Петровичем 1990-х. — Ю. П.)!” [2, с. 8].

В конце эссе даётся открытая сравнительная характеристика изображения войны в прозе Евгения Носова и Виктора Астафьева. Приведём её сокращённый вариант: “Уверен, что в рассказе “Памятная медаль” Евгений Носов продолжил негласный спор со своим другом Виктором Астафьевым о том, как следует им, фронтовикам, писать войну”; “Война ожесточает людей. Но по нравственному статусу писателя бывший воин не имеет права ожесточаться и переходить на грубый язык, в скверну окопного бытия, отдаваться, как клятвенный свидетель, тому низкому и звериному, без чего никакая война не обходится, и потом делать из этого окончательные выводы. Правда события не есть ещё историческая правда. Тем более не духовная правда и не художественная” [2, с. 8].

Отношение к войне Распутина и Астафьева, как видим, принципиально разное.

Несомненно и другое: в эссе Распутин выразил взгляды, характерные для русских писателей, продолжающих традиции отечественной классики. Традиции, со многими из которых Астафьев сознательно порвал. Об этом он говорил не раз и в процессе создания романа “Прокляты и убиты”, и в ответах своим оппонентам.

В письмах к Валентину Курбатову и Юрию Нагибину Виктор Петрович определяет те задачи, которые он ставил перед собой в романе “Прокляты и убиты”, и место своего произведения в русской и мировой литературе. В этих суждениях удивляет, прежде всего, наивно-неофитский уровень мышления.

Писатель, например, всерьёз утверждает: “Я усложнил себе задачу тем, что не просто решил написать войну, но и поразмышлять о таких расхожих вопросах, как что такое жизнь и смерть, и человечешко (разрядка моя. — Ю. П.) между ними” [1, с. 642].

Астафьев ломится в открытую дверь, ставя в заслугу себе то, что присуще любому большому художнику, повествующему о войне и не только о ней. Александр Пушкин, Лев Толстой, Сергей Есенин, Михаил Булгаков, Михаил Шолохов, Юрий Бондарев, Евгений Носов, Константин Воробьёв, Валентин Распутин, Василий Белов, Леонид Бородин и другие классики XIX–XX веков через изображение войны (всё равно какой) размышляли о жизни и смерти человека, которого “человечишком” не называли и назвать не могли.

И главным писателем-оппонентом на этом новом пути для Виктора Петровича стал автор “Войны и мира”. Толстовская традиция Астафьеву чужда, что следует из письма к Валентину Курбатову от 18 июня 1993 года. Загадочно звучит признание Астафьева о том, что он попытался добраться “до верхнего слоя той горы, на которой и Лев Толстой кайлу свою сломал” [1, с. 642]. В чём видится автору “Прокляты и убиты” слом “кайлы”? На этот и другие вопросы ответы у Астафьева отсутствуют. Иные же суждения писателя о своём романе дают возможность прояснить его точку зрения.

В письме к Юрию Нагибину от 10 июня 1994 года Виктор Петрович так “скромно” оценил “Прокляты и убиты”: “Написал произведение, какого в нашей литературе ещё не было...” [1, с. 668]. Смысл этого “не было” Астафьев определил тремя годами раньше: “Всей дальнейшей работой в романе я как раз и покажу, как армия рабов воевала по-рабски, трупами заваливая врага и кровью заливая поля, отданные бездарным командованием тоже рабского свойства” [1, с. 594].

Конечно, ничего нового в таком восприятии войны нет. Задолго до Астафьева и в одно время с ним подобные мысли высказывали “клеветники России” разного толка. Но всё же ответить Астафьеву, хотя бы пунктирно, необходимо.

Во-первых, рабы — от рядового до военачальника — не в состоянии были одержать победу над фашистской Германией и её многочисленными союзниками, своеобразным интернационалом “свободных” цивилизованных народов.

Во-вторых, миллионы добровольцев и несчётное количество героев (известных и неизвестных, военных и гражданских) опровергают миф о рабах-победителях. Да и бездарные полководцы, “дремучее офицерство” (В. Астафьев) войну не выигрывают и не одерживают побед в самых масштабных сражениях XX века.

В-третьих, всем, казалось бы, известные цифры и факты опровергают астафьевские басни о войне. Писатель создаёт свою лжереальность, где Покрышкин стал героем Советского Союза за два сбитых самолёта, а немцы — героями рейха за четыреста-шестьсот; СССР потерял в войне якобы сорок семь миллионов человек... [1, с. 686].

В-четвёртых, Астафьев в письмах, интервью, романе не может и не хочет понять следующее: подавляющая часть соотечественников защищала не власть, а Родину, делала то, что всегда делали — при любой власти — достойные люди. К их числу Астафьев в 1991 году принадлежать не хочет: “Повторись война, я нынче ни за что не пошёл бы на фронт, чтобы спасти фашизм, только назад красной пуговкой...” [1, с. 593]. Набившая оскомину мысль о тождестве фашистской Германии и СССР, взятая напрокат из Гроссмана, Солженицына и других антисоветско-либеральных источников, ситуацию не меняет.

Ещё один сюжет полемики с Толстым возник с подачи Игоря Дедкова. Он за год до смерти опубликовал одну из лучших своих статей “Объявление вины и назначение казни” [3, с. 185–202]. Астафьев ответил Дедкову уже после кончины критика. Писатель свёл полемику к вопросу о цензурной брани. Её обилие в романе объясняется Астафьевым с материалистических, вульгарно-социологических позиций — “нашей натуральной действительностью”. Этот же подход Астафьев демонстрирует и в суждениях о русской классике, которая приводится Дедковым как альтернатива роману “Прокляты и убиты”.

Высказывания писателя об авторе “Войны и мира” как будто вышли из “шинели” Пролеткульта, РАППа: “Лев Толстой — сытый барин, он баловался, развлекал себя, укреплял тело барское плугом, лопатой, грабельками, и не жил он нашей мерзкой жизнью, не голодал, от полуграмотных комиссаров

поучений не слышал, в яме нашей червивой не рылся, в бердской, чебаркульской или тоцкой казарме не служил... Иначе б тоже матерился” [1, с. 772].

Логика Астафьева легко опровергается судьбами десятков писателей, современников Виктора Петровича, на чью долю выпали испытания, подобные астафьевским, или ещё более тяжёлые, чем у него. В текстах Олега Волкова, Леонида Бородина, Евгения Носова, Константина Воробьёва, Виталия Семёна, Владимира Максимова, Василия Белова, Михаила Лобанова и многих других нецензурная лексика отсутствует.

Уже в 1960-е годы Астафьев неоднократно транслирует пацифистские мысли. В уважении к армии и армейской службе он в 1966-м видит – ни много ни мало – проявление милитаризма. А поведение солдат, стыдящихся маршировать на улице и петь песни, Астафьева радует как якобы сознательное сопротивление милитаризму. Слова, сказанные Виктором Петровичем молодому генералу 54 года назад, созвучны тому, что вещают либеральные авторы последних десятилетий: “...Если б торжествовала передовая человеческая мысль на земле, давно б уж не было на ней никаких казарм, никаких армий и некого было бы “освободить”, а ему, генералу, пришлось бы идти на производство и не обесценивать до самого серого цвета человека, а производить нужные людям вещи” [1, с. 91-92].

Подобное отношение к армии, генералам, солдатам начало воплощаться в жизнь на рубеже 1980–1990-х годов. К чему это привело, хорошо известно. Однако ужасающая реальность никак не подействовала на Астафьева. На протяжении всех 1990-х он – в интервью, в письмах, в романе “Прокляты и убиты” (наиболее показателен монолог Зарубина в беседе с Лахониным перед началом операции на плацдарме), в “Затесях” – транслирует свои взгляды 1960–1970-х годов на армию, войну, государство, человечество.

Пацифистские идеи, выраженные на ином материале, звучат в письме к Александру Макарову от 25 апреля 1967 года. В нём Астафьев, в частности, говорит, что взгляды Ричарда Олдингтона на войну “полностью совпадают с его взглядами” [1, с. 129]. Итоговая мысль письма, выражающая астафьевское заветное, такова: “...Войны в сущности своей похожи друг на дружку. На них убивают людей! Всё остальное не главное (защита родной земли или захват чужих территорий, убийство в бою или мирных жителей, пленных?.. – Ю. П.) и пустяк по сравнению с этим” [1, с. 130].

Эта мысль – сквозная, главная в повести “Весёлый солдат” и в романе “Прокляты и убиты”. На ней держится кольцевая композиция повести. Акцент, сделанный во втором предложении “Весёлого солдата”: я убил “немца, фашиста”, – в последнем абзаце произведения зримо, знаково отсутствует: “Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвёртого года я убил человека. В Польше” [5, с. 496]. В романе “Прокляты и убиты” идейно созвучные автору персонажи и он сам многократно, настойчиво озвучивают мысль: любая война – преступление против человека.

Думаем, читатель без пацифистских комплексов без труда оценит позицию Виктора Астафьева, мы же вернёмся к рассматриваемому вопросу об особенной солдатской “правде” писателя.

* * *

В “поздней” прозе Астафьева огромное количество элементарных арифметических, физиологических, литературных, исторических, природоведческих и иных ошибок. Ошибок кричащих, анекдотичных, умом не постижимых. Этот уникальнейший литературный феномен проиллюстрируем тремя страницами романа “Прокляты и убиты”.

О родителях бывшей жены майора Зарубина Натальи говорится: “Он свою жену, истасканную им по клопным баракам, по дальним гарнизонам, даже в сражение с японцами на Хасане её втянул, в качестве санитарки (какой жуткий русский язык, точнее, полное отсутствие чувства языка; пунктуационная же ошибка – запятая после “втянул” – имеется и в новомировском, журнальном варианте, и в книжном. – Ю. П.). Едва живые они из того сражения вышли, сразу и зарегистрировались и вскоре ребёнка сотворили” [6, с. 342].

События на озере Хасан были в 1938 году, значит, Наталья родилась в 1939-м. Однако – с подачи Астафьева – она до 1941 года умудрилась выйти

замуж за Зарубина, родить ему дочь Аксицию и внебрачного сына от генерала Лаконины, а также ещё забеременеть от него.

К тому же Наталья за два года своей жизни успела побывать школьницей, “студенткой подвизалась на ниве искусства в гарнизонных клубах и приносила оттуда забористые анекдоты” [6, с. 344]. Это с хронологией, арифметикой у Виктора Петровича проблемы, а с забористыми анекдотами, как и с нецензурной лексикой, — полный порядок.

Приведём ещё примеры, свидетельствующие о масштабе фактологических ошибок в “поздней” прозе Астафьева. В романе “Прокляты и убиты” сообщается, что Щусь был ранен на Дону [6, с. 338]. Попробуем выяснить, в каком месяце 1943 года это произошло. Мы знаем, что в “начале января” этого года Щусь вместе с подчинёнными отправился в Осипово на “уборку хлеба” [6, с. 228-229]. Через “две недели” [6, с. 291] их вернули в Новосибирск, откуда через сутки отправили под Сталинград. Однако здесь (примерно с конца января — начала февраля) бойцы “длительное время” [6, с. 331] находились в сёлах выселенных немцев Поволжья. Длительное время — это, скорее всего, от одного до трех месяцев, так как “солдаты, которые посообразительней, сделали младшими командирами” [6, с. 331], пройдя соответствующие курсы. А они во время войны были месячные-трехмесячные.

Итак, при самом быстром развитии событий на передовую Щусь вместе с Сибирской дивизией попал в марте месяце. Даже если бы он получил ранение сразу, то с такой раной, после которой остался “глубокий шрам” и Щусь был комиссован на 3 месяца, он, как минимум, месяц пролежал в госпитале. Значит, в Осипово Щусь приехал не раньше середины апреля. Здесь и “сотворил Валерии Мефодьевне второго ребёнка” [6, с. 338]. Однако знать о родившемся “на этот раз парне, Василии Алексеевиче” [6, с. 338] Щусь в двадцатых числах сентября никак не мог.

Ещё более очевидна хронологическая ошибка в повествовании о Лёшке Шестакове. Утверждается, что он “валялся половину зимы” в госпитале [6, с. 359]. То есть в госпиталь герой должен был попасть во время январской уборки хлеба в Осипово. Однако мы знаем, что там никаких повреждений Шестаков не получал и вместе с сослуживцами отбыл в Сталинград.

Рассказывая о сражении на плацдарме, Астафьев поведал историю об “армейских господах” [6, с. 435], попавших в штрафбат. Они в 1941 году “увели” у Сибирской дивизии “целый комплект нового обмундирования” [6, с. 435-436]. Г. Жуков — “мужик крутой”, “назначенный командующим Западным фронтом” [6, с. 436] — пообещал лично контролировать ход следствия и сообщить “товарищу Сталину с товарищем Берией <...> о явных пособниках Гитлеру, орудующих в тылу” [6, с. 437].

Однако “с прошлой осени — звон сколько! Почти год прошёл, но сообщников Гитлера выбирают и выбирают, как вшей из мотни солдатских штанов. Пособники Гитлера держались кучно, ругались, спорили, даже за грудки хватались, но доставали где-то деньги, отдельную еду, выпивку, шибко много, совсем отчаянно играли в карты. На деньги играли” [6, с. 437].

В эту очередную историю-сказку не верится по следующим причинам.

Во-первых, масштаб хищений и райская жизнь проворовавшихся офицеров в штрафбате не соответствуют реалиям времени. Думается, Астафьев перепутал 1941-1943 годы с эпохой перестройки и девяностыми.

Во-вторых, из разных текстов Астафьева очевидно, что он ненавидит Жукова. Это, конечно, не основание делать из Георгия Константиновича человека, каким он не был. Человека, пугающего следствие именами Сталина и Берии, прибегающего к помощи выражения “пособники Гитлера”. К тому же астафьевское ёрничество, направленное не только против Жукова, художественно не мотивировано. Авторские выражения “звон”, “почти год”, “вши из мотни” не достигают цели и бумерангом бьют по Астафьеву, который не способен ещё и хронологически точно изображать события, человека.

Несмотря на то, что в романе утверждается: “С прошлой осени — звон сколько! Почти год прошёл <...>” [6, с. 437], мы понимаем: прошли почти два года. И вот почему. История с обмундированием событийно привязана к битве под Москвой, к назначению Г. К. Жукова командующим Западным фронтом, что произошло 10 октября 1941 года. Сражение же на плацдарме, в котором принимают участие штрафники, началось 24 сентября 1943 года.

Вообще, осень в прозе Астафьева – самое урожайное на различные фактологические несуразности время года. Вот немногие из них.

В повести “Весёлый солдат” на Кубани в первой половине октября медсестра Клава и санитарка Аня из сада приносят раненым “чуть порченные, сбоку в плесневелых лишаих абрикосы, подопрелые яблоки” [5, с. 275]. Но на Кубани уже к концу июля нет даже плесневелых абрикосов, подопрелые же яблоки в октябре найти гораздо сложнее, чем налитые, сочные. Загадочно выглядит и фруктовое сравнение в этой повести: “мягко сжимающая сердце мохнатеньким абрикосом” [5, с. 281]. То ли Астафьев вывел новый сорт абрикоса, то ли перепутал абрикос с персиком?

В романе “Прокляты и убиты” в двадцатых числах сентября на Украине листья “сползают” с дубов, “шуршат под ногами” [6, с. 323]; кухня находится “в полуопавшем дубовом лесу” [6, с. 337]; “по крыше и стене <...>, словно пули, тюкают в черепицу плоды лесных дичков, жёлуди” [6, с. 356]. На правой же стороне, на плацдарме, “красно и жёлто догорали кустарники осенним листом” [6, с. 355], и даже после пожаров, вызванных бомбёжкой, шквальным артиллерийским и прочим огнём, стояли “яблоньки со свёрнутым листом” [6, с. 427].

В реальности листопад проходит в принципиально иной последовательности, а в сентябре листья ещё на дубах.

Видимо, закономерно и то, что Лёшка Шестаков, чья судьба во многом созвучна авторской, обладает природно-аномальным виденьем. Вот он, находясь у Великой реки, думает о доме: “В эту пору, в сентябре, в низовьях Оби начинается сенокос <...>” [6, с. 325]. Через день его размышление о жизни глубинной России начинается практически с тех же слов: “...именно в эту пору”. Однако вызывает недоумение то, что в воображении Шестакова в сентябрьском пейзаже России появляются “снежные поля”, а минувший трудовой день называется почему-то “предзимним днём” [6, с. 409].

Примерно так же катастрофически представлены и литературные реалии в текстах Астафьева. Только о Д. Мережковском, Н. Рубцове, Н. Островском, А. Куприне, И. Бунине в мире героев и автора романа “Прокляты и убиты” можно написать отдельную статью. Мы ограничимся одним примером.

В романе говорится: “У матери Натальи любимейшим произведением был рассказ Бунина “Солнечный удар”, который она ещё в молодости, до запрещения и изъятия из обихода Бунина, прочла будущему супругу вслух” [6, с. 342]. Этого быть не могло по следующим причинам. “Солнечный удар” Бунин написал уже в эмиграции в 1925 году и впервые опубликовал в парижском журнале “Современные записки” в 1926-м. В СССР рассказа впервые был издан уже после войны, то есть из “обихода” он не изымался вообще, и мать Наталья прочитать его по довоенному советскому изданию не могла.

В романе “Прокляты и убиты” об участии советской бригады десантников в операции на плацдарме сообщается следующее: “Сталинские соколы, не ожидавшие плотного зенитного огня противника и ветра, вверх довольно сильно, выбросили, в буквальном смысле этого слова, десант – целую бригаду, в тысячу восемьсот душ, до войны ещё сформированную, бережно хранимую для особой операции, и вот в эту первую и последнюю, как скоро выяснится, операцию наконец-то угодившую.

Сталинские соколы, большей частью соколихи, выбросили десант с большей, против заданной, высоты – припекало. Десантников разнесло кого куда, но большей частью на реку, в воду. Немцы аккуратно подчищали небо и реку, расстреливая парашюты и парашютистов; до оврагов, до берега, где сидели и смотрели на всё это безобразие бойцы, доносило изгальный хохот фашистов: “Давай! Давай, еван, гости, гости!” И какой-то фриц, знающий по-русски, добавил: “Тёще на блины!”

После выяснилось, лишь одна группа десантников сбилась где-то, человек с полтора, и оказала сопротивление, остальные разбрелись по Заречью, с криками о помощи перетонули в реке. В эту ночь и во все последующие десантники по двое, по трое переходили линию фронта, попадали в лапы к немцам либо под огонь перепуганных, беды из ночи ждущих постовых и боевых охранений русских. Большая же часть десантной бригады осела по окрестным лесам и сёлам, где их и повыволоки полицаи, лишь отдельные десантники, надёжно попрятавшись в домах селян и на лесных хуторах, дождались зимнего наступления Красной армии, явились в воинские части и были

немедленно арестованы, судимы за дезертирство, отправлены в штрафные роты — кто-то ж должен быть виноват в срыве тонко продуманной операции и понести за это заслуженное наказание” [6, с. 522-523].

В трёх абзацах текста Астафьев поразительным образом исказил исторические реалии, что вообще характерно для его “позднего” творчества. В романе десантируется 1800 человек, в действительности — почти 3000. В произведении из всей бригады оказывают локальное сопротивление “человек полтора”, на самом деле, 1200 десантников пробилось к партизанам. Они в романе отсутствуют: их всех успешно “зачистили” немцы. Однако партизаны вместе с десанниками уничтожили “свыше 3 тысяч гитлеровцев, 52 танка, 6 самоходно-артиллерийских установок, 18 тягачей, 227 различных машин и много другой техники”, а также “в 19 местах подорвали железнодорожное полотно, пустили под откос 15 эшелонов” [7, с. 402]. О судьбе десанников-одиночек, представленной в романе как очередная иллюстрация расхожих либеральных мифов, документальная информация нами не обнаружена. К тому же, о каком мифическом зимнем наступлении Красной армии говорит Астафьев? Операция по освобождению территории, где происходят романские события, началась 5 ноября 1943 года, и уже 6 ноября был освобождён Киев.

В приведённой цитате из романа проявляется ещё одна особенность “поздней” прозы Астафьева — отношение автора к смерти персонажей, вызывающих у него, скажем общо, недобрые чувства. Так, в сентябре 1943 года генерал Лахонин говорит майору Зарубину о десантной бригаде, которая “с начала войны в тылу сидела да с учебных самолётиков сигала” [6, с. 345]. Главное не то, откуда взял эту более чем сомнительную информацию Астафьев (узнал от кого-то или выдумал сам), а то, какой отклик она вызвала у писателя.

Версия о “бережно хранимой бригаде”, озвученная повторно уже автором, означает, что она задела Астафьева за живое и вызвала сильную негативную реакцию. Именно поэтому о судьбе десантников, большая часть из которых была уничтожена в воздухе и на земле, сообщается не только без сострадания, но и с явным злорадством. Обыгравая известное выражение, Астафьев ёрнически говорит и о лётчиках, чья вина, видимо, состоит в том, что они — “сталинские”: “соколы” и “соколихи”.

В данном эпизоде проявляется авторское антихристианское отношение к человеку, не совместимое с традициями русской литературы.

Не менее вольная трактовка отступления фашистов с юга России весной 1943 года даётся в повести “Весёлый солдат”. Автор произведения, отталкиваясь от факта сохранности одной железнодорожной станции, одной станицы и аккуратно вывезенного имущества одного госпиталя (Астафьев “забыл” о разрушенных Новороссийске, Краснодаре, Армавире, Кропоткине, Туапсе и других городах, сотнях станиц, десятках станций, об ином, общеизвестном), делает глобальный, явно не следующий из сказанного вывод: “И приходится верить рассказам жителей станицы и фельдмаршалу Манштейну, что с Кубани и Кавказа немецкие соединения отступали планомерно, сохранили полную боеспособность, но по нашим сводкам и свидетельству летописцев разных званий и рангов выходило, что немцы с Кавказа и Кубани бежали в панике, бросали не то что имущество и барахло, но и раненых, и боевую технику...” [5, с. 284].

Очевидную предвзятость и совершенную беспомощность Астафьева-мыслителя выявляют, в частности, следующие риторические вопросы. Где свидетельства станичников, к тому же, по версии писателя, почти поголовно сотрудничавших с фашистами? Почему автор повести верит этим рассказчикам, если они, конечно, действительно были? Как верит гитлеровскому военачальнику, а не Г. Жукову, А. Василевскому и другим советским полководцам, многочисленным документам и свидетелям. Разве всё это красноречиво не свидетельствует о позиции Астафьева?

Итак, приведённые примеры из романа и повести показывают, насколько несостоятелен Астафьев в интерпретации событий Великой войны. Чем же объяснить запредельную ложь писателя? Тем, что Астафьев, по его словам, не читал документы, а опирался, в первую очередь, на свои воспоминания? Но если автор обращается к историческим реалиям, то, конечно, он должен представить их художественный эквивалент, немислимый без фактологической и атмосферной правды событий. Думаем, Астафьев это прекрасно понимал,

но следовать данному правилу не мог: тогда бы ничего не осталось от его солдатской “правды”.

В “позднем” творчестве В. Астафьев последовательно реализовал свои взгляды 1960–1970-х годов на Великую Отечественную войну и человека. Но количество и качество фактологических ошибок не позволяют говорить ни о какой солдатской правде. Напротив – писателя отличают редкая предвзятость, мировоззренческая и личностная заданность видения, вопиющая некомпетентность во многих вопросах, неспособность фактологически точно, логически убедительно, эпически объективно изображать человека и время.

Использованные источники:

1. Астафьев В. Нет мне ответа...: эпистолярный дневник. – М.: ЭКСМО, 2012.
2. Распутин В. Повесть пронзительная и печальная // Завтра. 2015. № 11.
3. Дедков И. Объявление вины и назначение казни // Дружба народов. 1993. № 10.
4. Астафьев В. Затеси. Новая тетрадь // Новый мир. 1999. № 8.
5. Астафьев В. Весёлый солдат // Астафьев В. Царь-рыба: повести и рассказы. – СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.
6. Астафьев В. Прокляты и убиты. – СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.
7. Драбкин А., Исаев А. История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в одном томе. – М.: Яуза-каталог, 2019.